

Николай Лесков

Обман



Николай Семёнович Лесков

Обман

Серия «Святочные рассказы», книга 6

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175135

Аннотация

«Под самое Рождество мы ехали на юг и, сидя в вагоне, рассуждали о тех современных вопросах, которые дают много материала для разговора и в то же время требуют скорого решения. Говорили о слабости русских характеров, о недостатке твердости в некоторых органах власти, о классицизме и о евреях. Более всего прилагали забот к тому, чтобы усилить власть и вывести в расход евреев, если невозможно их исправить и довести, по крайней мере, хотя до известной высоты нашего собственного нравственного уровня...»

Содержание

Глава первая	4
Глава вторая	9
Глава третья	13
Глава четвертая	21
Глава пятая	26
Глава шестая	32
Глава седьмая	35
Глава восьмая	42
Глава девятая	49
Глава десятая	54
Глава одиннадцатая	56
Глава двенадцатая	57
Глава тринадцатая	59

Николай Лесков

Обман

*Смоковница отмечает пупы своя от
ветра велика.*

Анк. VI, 13

Глава первая

Под самое Рождество мы ехали на юг и, сидя в вагоне, рассуждали о тех современных вопросах, которые дают много материала для разговора и в то же время требуют скорого решения. Говорили о слабости русских характеров, о недостатке твердости в некоторых органах власти, о классицизме и о евреях. Более всего прилагали забот к тому, чтобы усилить власть и вывести в расход евреев, если невозможно их исправить и довести, по крайней мере, хотя до известной высоты нашего собственного нравственного уровня. Дело, однако, выходило не радостно: никто из нас не видел никаких средств распорядиться властью, или достигнуть того, чтобы все, рожденные в еврействе, опять вошли в утробы и снова родились совсем с иными натурами.

— А в самой вещи, — как это сделать?

– Да никак не сделаешь.

И мы безотрадно поникли головами.

Компания у нас была хорошая, – люди скромные и несомненно основательные.

Самым замечательным лицом в числе пассажиров, по всей справедливости, надо было считать одного отставного военного. Это был старик атлетического сложения. Чин его был неизвестен, потому что из всей боевой амуниции у него уцелела одна фуражка, а все прочее было заменено вещами статского издания. Старик был беловолос, как Нестор, и крепок мышцами, как Сампсон, которого еще не остригла Далила. В крупных чертах его смуглого лица преобладало твердое и определительное выражение и решимость. Без всякого сомнения это был характер положительный и притом – убежденный практик. Такие люди не вздор в наше время, да и ни в какое иное время они не бывают вздором.

Старец все делал умно, отчетливо и с соображением; он вошел в вагон раньше всех других и потому выбрал себе наилучшее место, к которому искусно присоединил еще два соседние места и твердо удержал их за собою посредством мастерской, очевидно заранее обдуманной, раскладки своих дорожных вещей. Он имел при себе целые три подушки очень больших размеров. Эти подушки сами по себе уже составля-

ли добрый багаж на одно лицо, но они были так хорошо гарнированы, как будто каждая из них принадлежала отдельному пассажиру: одна из подушек была в синем кубовом ситце с желтыми незабудками, – такие чаще всего бывают у путников из сельского духовенства; другая – в красном кумаче, что в большом употреблении по купечеству, а третья – в толстом полосатом тике – это уже настоящая штабс-капитанская. Пассажир, очевидно, не искал ансамбля, а искал чего-то более существенного, – именно приспособительности к другим гораздо более серьезным и существенным целям.

Три разношерстные подушки могли кого угодно ввести в обман, что занятые ими места принадлежат трем разным лицам, а предусмотрительному путешественнику этого только и требовалось.

Кроме того, мастерски заделанные подушки имели не совсем одно то простое название, какое можно было придать им по первому на них взгляду. Подушка в полосатом была собственно чемодан и погребец и на этом основании она пользовалась преимущественным перед другими вниманием своего владельца. Он поместил ее vis-a-vis перед собою, и как только поезд отвалил от амбаркадера – тотчас же облегчил и ослабил ее, расстегнув для того у ее наволочки белые костяные пуговицы. Из пространного отверстия, кото-

рое теперь образовалось, он начал вынимать разнокалиберные, чисто и ловко завернутые сверточки, в которых оказались сыр, икра, колбаса, сайки, антоновские яблоки и ржевская пастила. Всего веселее выглянула на свет хрустальная фляжка, в которой находилась удивительно приятного фиолетового цвета жидкость с известною старинною надписью: «Ея же и монаси приемлят». Густой аметистовый цвет жидкости был превосходный, и вкус, вероятно, соответствовал чистоте и приятности цвета. Знатоки дела уверяют, будто это никогда одно с другим не расходится.

Во все время, пока прочие пассажиры спорили о жидках, об отечестве, об измелечании характеров и о том, как мы «во всем сами себе напортили», и, – вообще занимались «оздоровлением корней» – беловласый богатырь сохранял величавое спокойствие. Он держал себя, как человек, который знает, когда ему придет время сказать свое слово, а пока – он просто кушал разложенную им на полосатой подушке провизию и выпил три или четыре рюмки той аппетитной влаги «Ея же и монаси приемлят». Во все это время он не проронил ни одного звука. Но зато, когда у него все это важнейшее дело было окончено как следует, и когда весь буфет был им снова тщательно убран, – он щелкнул складным ножом и закурил с собственной спички невероятно толстую, самодельную папи-

росу, потом вдруг заговорил и сразу завладел всеобщим вниманием.

Говорил он громко, внушительно и смело, так что никто не думал ему возражать или противоречить, а, главное, он ввел в беседу живой общезанимательный любовный элемент, к которому политика и цензура нравов примешивалась только слегка, левою стороною, не докучая и не портя живых приключений мимо протекшей жизни.

Глава вторая

Он начал речь свою очень деликатно, – каким-то чрезвычайно приятным и в своем роде даже красивым обращением к пребывающему здесь «обществу», а потом и перешел прямо к предмету давних и ныне столь обыденных суждений.

– Видите ли, – сказал он, – мне все это, о чем вы говорили, не только не чуждо, но даже, вернее сказать, очень знакомо. Мне, как видите, уже не мало лет, – я много жил и могу сказать – много видел. Все, что вы говорите про жидов и поляков, – это все правда, но все это идет от нашей собственной русской, глупой деликатности; все хотим всех деликатней быть. Чужим мирволим, а своих давим. Мне это, к сожалению, очень известно и даже больше того, чем известно: я это испытал на самом себе-с, но вы напрасно думаете, что это только теперь настало: это давно завелось и напоминает мне одну роковую историю. Я положим, не принадлежу к прекрасному полу, к которому принадлежала Шехеразада, однако я тоже очень бы мог позанять иного султана не пустыми рассказами. Жидов я очень знаю, потому что живу в этих краях и здесь постоянно их вижу, да и в прежнее время, когда еще в военной службе служил, и когда по роковому

случаю городничим был, так не мало с ними повозился. Случалось у них и деньги занимать, случалось и за пейсы их трепать и в шею выталкивать, всего приводил бог, – особенно когда жид придет за процентами, а заплатить нечем. Но бывало, что я и хлеб-соль с ними водил, и на свадьбах у них бывал, и мацу, и гугель, и аманово ухо у них ел, а к чаю их булки с чернушкой и теперь предпочитаю непропеченной сайке, но того, что с ними теперь хотят сделать, – этого я не понимаю. Нынче о них везде говорят и даже в газетах пишут... Из-за чего это? У нас, бывало, простохватишь его чубуком по спине, а если он очень дерзкий, то клюквой в него выстрелишь, – он и бежит. И жид большего не стоит, а выводить его совсем в расход не надо, потому что при случае жид бывает человек полезный.

Что же касается в рассуждении всех подлостей, которые евреям приписывают, так я вам скажу, это ничего не значит перед молдаванами и еще валахами, и что я с своей стороны предложил бы, так это не вводить жидов в утробы, ибо это и невозможно, а помнить, что есть люди хуже жидов.

– Кто же, например?

– А, например, румыны-с!

– Да, про них тоже нехорошо говорят, – отозвался солидный пассажир с табакеркой в руках.

– О-о, батюшка мой, – воскликнул, весь оживившись, наш старец: – поверьте мне, что это самые худшие люди на свете. Вы о них только слыхали, но по чужим словам, как по лестнице, можно черт знает куда залезть, а я все сам на себе испытал и, как православный христианин, свидетельствую, что хотя они и одной с нами православной веры, так что, может быть, нам за них когда-нибудь еще и воевать придется, но это такие подлецы, каких других еще и свет не видал.

И он нам рассказал несколько плутовских приемов, практикующихся или некогда практиковавшихся в тех местах Молдавии, которые он посещал в свое боевое время, но все это выходило не ново и мало эффективно, так что бывший среди прочих слушателей пожилой лысый купец даже зевнул и сказал:

– Это и у нас музыка известная!

Такой отзыв оскорбил богатыря, и он, слегка сдвинув брови, молвил:

– Да, разумеется, русского торгового человека плутом не удивишь!

Но вот рассказчик оборотился к тем, которые ему казались просвещеннее, и сказал:

– Я вам, господа, если на то пошло, расскажу анекдотик из ихнего привилегированного-то класса; расскажу про их помещичьи нравы. Тут вам кстати будет и про эту нашу дымку очес, через которую мы на все

смотрим, и про деликатность, которую только своим и себе вредим.

Его, разумеется, попросили, и он начал, пояснив, что это составляет и один из очень достопримечательных случаев его боевой жизни.

Глава третья

Рассказчик начал так.

Человек, знаете, всего лучше познается в деньгах, картах и в любви. Говорят, будто еще в опасности на море, но я этому не верю, – в опасности иной трус развоюется, а смельчак спасует. Карты и любовь... Любовь даже может быть важней карт, потому что всегда и везде в моде: поэт это очень правильно говорит: «любовь царит во всех сердцах», без любви не живут даже у диких народов, – а мы, военные люди, ею «все движимся и есьми». Положим, что это сказано в рассуждении другой любви, однако, что попы ни сочиняй, – всякая любовь есть «влечение к предмету». Это у Курганова сказано. А вот предмет предмету рознь, – это правда. Впрочем, в молодости, а для других даже еще и под старость, самый общеупотребительный предмет для любви все-таки составляет женщина. Никакие проповедники этого не могут отменить, потому что бог их всех старше и как он сказал: «не благо быть человеку единому», так и остается.

В наше время у женщин не было нынешних мечтаний о независимости, – чего я, впрочем, не осуждаю, потому что есть мужья совершенно невозможные, так что верность им даже можно в грех поставить. Не бы-

ло тогда и этих гражданских браков, как нынче завелось. Тогда на этот счет холостежь была осторожнее и дорожила свободой. Браки были тогда только обыкновенные, настоящие, в церкви петье, при которых обычаем не возбранялась свободная любовь к военным. Этого греха, как и в романах Лермонтова, видно было действительно очень много, но только происходило все это по-раскольнически, то есть «без доказательств». Особенно с военными: народ переходный, нигде корней не пускали: нынче здесь, а завтра затрубим и на другом месте очутимся – следовательно, что шито, что вито, – все позабыто. Стеснения никакого. Зато нас и любили, и ждали. Куда, бывало, в какой городишко полк ни вступит, – как на званый пир, сейчас и закипели шуры-муры. Как только офицеры почистятся, поправятся и выйдут гулять, так уже в прелестных маленьких домиках окна у барышень открыты и оттуда летит звук фортепиано и пение. Любимый романс был:

Как хорош, – не правда ль, мама,
Постоялец наш удалый,
Мундир золотом весь шитый,
И как жар горят ланиты,
Боже мой,
Боже мой,
Ах, когда бы он был мой.

Ну уж, разумеется, из какого окна услышал это пение – туда глазом и мечешь – и никогда не даром. В тот же день к вечеру, бывало, уже полетят через денщиков и записочки, а потом пойдут порхать к господам офицерам горничные... Тоже не нынешние субретки, но крепостные, и это были самые бескорыстные создания. Да мы, разумеется, им часто и платить ничем иным не могли, кроме как поцелуями. Так и начинаются, бывало, любовные утехи с посланниц, а кончаются с пославшими. Это даже в водевиле у актера Григорьева на театрах в куплете пели:

Чтоб с барышней слюбиться,
За девкой волочись.

При крепостном звании горничною не называли, а просто – девка.

Ну, понятно, что при таком лестном внимании все мы военные люди были чертовски женщинами избалованы! Тронулись из Великой России в Малороссию – и там то же самое; пришли в Польшу – а тут этого добра еще больше. Только польки ловкие – скоро женить наших начали. Нам командир сказал: «Смотрите, господа, осторожно», и действительно у нас бог спасал – женитьбы не было. Один был влюблен таким образом, что побежал предложение делать, но за-

стал свою будущую тещу наедине и, к счастью, ею самую так увлекся, что уже не сделал дочери предложения. И удивляться нечему, что были успехи, – потому что народ молодой и везде встречали пыл страсти. Нынешнего житья, ведь, тогда в образованных классах не было... Внизу там, конечно, пищали, но в образованных людях просто зуд любовный одолевал, и притом внешность много значила. Девицы и замужние признавались, что чувствуют этакое, можно сказать, какое-то безотчетное замирание при одной военной форме... Ну, а мы знали, что на то селезню дано в крылья зеркальце, чтобы утице в него поглядеться хотелось. Не мешали им собой любоваться...

Из военных не много было женатых, потому что бедность содержания, и скучно. Женившись: тащись сам на лошадке, жена на коровке, дети на телятках, а слуги на собачках. Да и к чему, когда и одинокие тоски жизни одинокой, по милости божией, никогда нимало не испытывали. А уж о тех, которые собой поавантажнее, или могли петь, или рисовать, или по-французски говорить, то эти часто даже не знали, куда им деваться от рога избылиия. Случалось даже, в придачу к ласкам и очень ценные безделушки получали, и то так, понимаете, что отбиться от них нельзя... Просто даже бывали случаи, что от одного случая вся, бедняжка, вскрыется, как клад от аминя, и тогда непременно за-

бирай у нее что отдает, а то сначала на коленях просит, а потом обидится и заплачет. Вот у меня и посеячас одна такая заветная балаболка на руке застряла.

Рассказчик показал нам руку, на которой на одном толстом, одеревяневшем пальце заплыл старинной работы золотой эмальированный перстень с довольно крупным алмазом. Затем он продолжил рассказ:

Но такой нынешней гнусности, чтобы с мужчин чем-нибудь пользоваться, этого тогда даже и в намеках не было. Да и куда, и на что? Тогда, ведь, были достатки от имений, и притом еще и простота. Особенно в уездных городках, ведь, чрезвычайно просто жили. Ни этих нынешних клубов, ни букетов, за которые надо деньги заплатить и потом бросить, не было. Одевались со вкусом, – мило, но простенько: или этакий шелковый марсельинец, или цветная кисейка, а очень часто не пренебрегали и ситчиком или даже какую-нибудь дешевенькою цветною холстинкою. Многие барышни еще для экономии и фартучки и бретельки носили с разными такими бахромочками и городками, и часто это очень красиво и нарядно было, и многим шло. А прогулки и все эти рандевушки совершались совсем не по-нынешнему. Никогда не приглашали дам куда-нибудь в загородные кабаки, где только за все дерут вдсятеро, да в щелки подсматривают. Боже сохрани! Тогда девушка или дама со стыда бы

сгорела от такой мысли, и ни за что бы не поехала в подобные места, где мимо одной лакузы-то пройти – все равно, как сквозь строй! И вы сами ведете свою даму под руку, видите, как те подлецы за вашими плечами зубы скалят, потому что в их холопских глазах, что честная девица, что женщина, увлекаемая любовною страстию, что какая-нибудь дама из Амстердама – это все равно. Даже если честная женщина скромнее себя держит, так они о ней еще ниже судят: «Тут, дескать, много поживы не будет: по барыньке и говядинка».

Нынче этим манкируют, но тогдашняя дама обиделась бы, если бы ей предложить хотя бы самое приятное уединение в таком месте.

Тогда был вкус и все искали, как все это облагородить, и облагородить не каким-нибудь фанфаронством, а именно изящной простотою, – чтобы даже ничто не подавало воспоминаний о презренном металле. Влюбленные всего чаще шли, например, гулять за город, рвать в цветущих полях васильки или где-нибудь над речечкой под лозою рыбу удить или вообще, что-нибудь другое этакое невинное и простосердечное. Она выйдет с своею крепостною, а ты сидишь на рубежечке, поджидаешь. Девушку, разумеется, оставишь где-нибудь на меже, а с барышней углубишься в чистую зреющую рожь... Это колосья, небо, букашки

разные по стебелькам и по земле ползают... А с вами молодое существо, часто еще со всей институтской невинностью, которое не знает, что говорить с военным, и точно у естественного учителя спрашивает у вас: «Как вы думаете: это букан или букашка?..» Ну, что тут думать: букашка это или букан, когда с вами наедине и на вашу руку опирается этакий живой, чистейший ангел! Закружатся головы и, кажется, никто не виноват и никто ни за что отвечать не может, потому что не ноги тебя несут, а самое поле в лес уплывает, где такие дубы и клены, и в их тени задумчивы дриады!.. Ни с чем, ни с чем в мире не сравнимое состояние блаженства! Святое и безмятежное счастье!..

Рассказчик так увлекся воспоминаниями высоких минут, что на минуту умолк. А в это время кто-то тихо заметил, что для дриад это начиналось хорошо, но кончалось не без хлопот.

– Ну да, – отозвался повествователь, – после, разумеется, ищи что на орле, на левом крыле. Но я о себе-то, о кавалерах только говорю: мы привыкли принимать себе такое женское внимание и сакрифисы в простоте, без рассуждений, как дар Венеры Марсу следующий, и ничего продолжительного ни для себя не требовали, ни сами не обещали, а пришли да взяли – и поминай как звали. Но вдруг крутой перелом! Вдруг прямо из Польши нам пришло неожиданное на-

значение в Молдавию. Поляки мужчины страсть как нам этот румынский край расхваливали: «Там, говорят, куконы, то есть эти молдаванские дамы, – такая краса природы совершенство, как в целом мире нет. И любовь у них, будто, получить ничего не стоит, потому что они ужасно пламенные».

Что же, – мы очень рады такому кладу.

Наши ребята и расхорохорились. Из последнего тянуться, перед выходом всяких перчаток, помад и духов себе в Варшаве понакупили и идут с этим запасом, чтобы куконы сразу поняли, что мы на руку лапоть не обуваем.

Затрубили, в бубны застучали и вышли с веселою песнею:

Мы любовниц оставляем,
Оставляем и друзей.
В шумном виде представляем
Пулей свист и звук мечей.

Ждали себе невесть каких благодатей, а вышло дело с такой развязкою, какой никаким образом невозможно было представить.

Глава четвертая

Вступали мы к ним со всем русским радушием, потому что молдаване все православные, но страна их нам с первого же впечатления не понравилась: низменность, кукуруза, арбузы и земляные груши прекрасные, но климат нездоровый. Очень многие у нас еще на походе переболели, а к тому же ни приветливости, ни благодарности нигде не встречаем.

Что ни понадобится – за все давай деньги, а если что-нибудь, хоть пустяки, без денег у молдава возьмут, так он, чумазый, заголосит, будто у него дитя родное отняли. Воротишь ему – бери свои костыли, – только не голоси, так он спрячет и сам уйдет, так что его, черта лохматого, нигде и не отыщешь. Иной раз даже проводить или дорогу показать станет и некому – все разбегутся. Трусишки единственные в мире, и в низшем классе у них мы ни одной красивой женщины не заметили. Одни девчонки чумазые, да пребезобразнейшие старухи.

Ну, думаем себе, может быть у них это так только в хуторах придорожных: тут всегда народ бывает похуже; а вот придем в город, там изменится. Не могли же поляки совсем без основания нас уверять, что здесь хороши и куконы! Где они, эти куконы? Посмотрим.

Пришли в город, а и здесь то же самое: за все решительно извольте платить.

В рассуждении женской красоты поляки сказали правду. Куконы и куконицы нам очень понравились – очень томны и так гибки, что даже полек превосходят, а ведь уж польки, знаете, славятся, хотя они на мой вкус немножко большероты, и притом в характере капризов у них много. Пока дойдет до того, что ей по Мицкевичу скажешь: «Коханка моя! на цо нам размова», – вволю ей накланяешься. Но в Молдавии совсем другое—тут во всем жид действует. Да-с, простой жид и без него никакой поэзии нет. Жид является к вам в гостиницу и спрашивает: не тяготитесь ли вы одиночеством и не причуяли ли какую-нибудь кукону?

Вы ему говорите, что его услуги вам не годятся, потому что сердце ваше уязвлено, например, такую-то или такую-то дамою, которую вы видели, например скажете, в таком-то или таком-то доме под шелковым шатром на балконе. А жид вам отвечает: «можно».

Поневоле окрик дашь:

– Что такое «можно»!?

Отвечает, что с этою дамою можно иметь компанию, и сейчас же предлагает, куда надо выехать за город, в какую кофейню, куда и она приедет туда с вами кофе пить. Сначала думали – это вранье, но нет-с, не вранье. Ну, с нашей мужской стороны, разумеется,

препятствий нет, все мы уже что-нибудь присмотрели и причуяли и все готовы вместе с какою-нибудь куконой за город кофе пить.

Я тоже сказал про одну кукону, которую видел на балконе. Очень красивая. Жид сказал, что она богатая и всего один год замужем.

Что-то уж, знаете, очень хорошо показалось, так что даже и плохо верится. Переспросил еще раз, и опять то же самое слышу: богатая, год замужем и кофе с нею пить можно.

– Не врешь ли ты? – говорю жиду.

– Зачем врать? – отвечает, – я все честно сделаю: вы сидите сегодня вечером дома, а как только смеркнется к вам придет ее няня.

– А мне на какой черт нужна ее няня?

– Иначе нельзя. Это здесь такой порядок.

– Ну, если такой порядок, то делать нечего, в чужой монастырь с своим уставом не ходят. Хорошо; скажи ее няне, что я буду сидеть дома и буду ее дожидаться.

– И огня, – говорит, – у себя не зажигайте.

– Это зачем?

– А чтобы думали, что вас дома нет.

Пожал плечами и на это согласился.

– Хорошо, – говорю, – не зажгу.

В заключение жид с меня за свои услуги червонец потребовал.

– Как, – говорю, – червонец! Ничего еще не видя, да уж и червонец! Это жирно будет.

Но он, шельма этакий, должно быть, травленный. Улыбается и говорит:

– Нет; уж после того как увидите– поздно будет получать. Военные, говорят, тогда не того...

– Ну, – говорю, – про военных ты не смей рассуждать, – это не твое дело, а то я разобью тебе морду и рыло и скажу, что оно так и было.

А впрочем дал ему злата и проклял его и верного позвал раба своего.

Дал денщику двугривенный и говорю:

– Ступай куда знаешь и нарежься как сапожник, только чтобы вечером тебя дома не было.

Все, замечайте, прибавляется расход к расходу. Со всем не то, что васильки рвать. Да, может быть, еще и няньку надо позолотить.

Наступил вечер; товарищи все разошлись по кофейням. Там тоже девицы служат и есть довольно любопытные, – а я притворился, солгал товарищам, будто зубы болят и будто мне надо пойти в лазарет к фельдшеру каких-нибудь зубных капель взять, или совсем пускай зуб выдернет. Обежал поскорей квартал да к себе в квартиру, – нырнул незаметно; двери отпер и сел без огня при окошечке. Сижу как дурак, дожidaюсь: пульс колотится и в ушах стучит. А у самого

уже и сомнение закралось, думаю: не обманул ли меня жид, не наговорил ли он мне про эту няньку, чтобы только червонец себе схватить... И теперь где-нибудь другим жидам хвалится, как он офицера надул, и все помирают, хохочут. И в самом деле, с какой стати тут няня и что ей у меня делать?.. Преглупое положение, так что я уже решил: еще подожду, пока сто сосчитаю, и уйду к товарищам.

Глава пятая

Вдруг, я и полсотни не сосчитал, раздался тихонечко стук в двери и что-то такое вползает, – шуршит этаким чем-то твердым. Тогда у них шалоновые мантоны носили, длинные, а шалон шуршит.

Без свечи-то темно у меня так, что ничего ясно не рассмотришь, что это за кукуруза.

Только от уличного фонаря чуть-чуть видно, что гостя моя, должно быть, уже очень большая старушенция. И однако, и эта с предосторожностями, так что на лице у нее вуаль.

Вошла и шепчет:

– Где ты?

Я отвечаю:

– Не бойся, говори громко: никого нет, а я дожидаюсь, как сказано. Говори, когда же твоя кукона поедет кофе пить?

– Это, – говорит, – от тебя зависит.

И все шепотом.

– Да я, – говорю, – всегда готов.

– Хорошо. Что же ты мне велишь ей передать?

– Передай, мол, что я ею поражен, влюблен, страдаю, и когда ей угодно, я тогда и явлюсь, хотя, например, завтра вечером.

– Хорошо, завтра она может приехать.

Кажется, ведь надо бы ей после этого уходить, – не так ли? Но она стоит-с!

– Чего-с!

Надо, видно, проститься еще с одним червонцем. Себе бы он очень пригодился, но уж нечего делать – хочу ей червонец подать, как она вдруг спрашивает:

– Согласен ли я сейчас, с нею послать куконе *триста червонцев*?

– Что-о-о тако-о-ое?

Она преспокойно повторяет «триста червонцев», и начинает мне шептать, что муж ее куконы хотя и очень богат, но что он ей не верен и проживает деньги с итальянскою графинею, а кукона совсем им оставлена и даже должна на свой счет весь гардероб из Парижа выписывать, потому что не хочет хуже других быть...

То есть вы понимаете меня, – это черт знает что такое! Триста золотых червонцев – ни больше, ни меньше!.. А ведь это-с тысяча рублей! Полковницкое жалованье за целый год службы... Миллион карточей! Как это выговорить и предъявить такое требование к офицеру? Но, однако, я нашелся: червонцев у меня, думаю, столько нет, но честь свою я поддержать должен.

– Деньги, – говорю, – для нас, русских, пустяки. – Мы о деньгах не говорим, но кто же мне поручится,

что ты ей передашь, а не себе возьмешь мои триста червонцев?

– Разумеется, – отвечает, – я ей передам.

– Нет, – говорю, – деньги дело не важное, – но я не желаю быть тобою одурачен. – Пусть мы с нею увидимся, и я ей самой, может быть, еще больше дам.

А кукуруза вломилаась в амбицию и начала наставление мне читать.

– Что ты это, – говорит, – разве можно, чтобы кукона сама брала.

– А я не верю.

– Ну, так иначе, – говорит, – ничего не будет.

– И не надобно.

Таковыми она меня впечатлениями исполнила, что я даже физическую усталость почувствовал, и очень рад был, когда ее черт от меня унес.

Пошел в кофейню к товарищам, напился вина до чрезвычайности и проводил время, как и прочие, покавалерски; а на другой день пошел гулять мимо дома, где жила моя пригляженная кукона, и вижу, она как святая сидит у окна в зеленом бархатном спенсере, на груди яркий махровый розан, ворот низко вырезан, голая рука в широком распашном рукаве, шитом золотом, и тело... этакое удивительное розовое... из зеленого бархата, совершенно как арбуз из кожи, выглядывает.

Я не стерпел, подскочил к окну и заговорил:

– Вы меня так измучили, как женщина с сердцем не должна; я томился и ожидал минуты счастья, чтобы где-нибудь видеться, но вместо вас пришла какая-то жадная и для меня подозрительная старуха, насчет которой я, как честный человек, долгом считаю вас предупредить: она ваше имя марает.

Кукона не сердится; я ей брякнул, что старуха деньги просила, – она и на это только улыбается. Ах ты черт возьми! зубки открыла – просто перлы среди кораллов, – все очаровательно, но как будто дурочкой от нее немножко пахнуло.

– Хорошо, – говорит, – я няню опять пришлю.

– Кого? эту же самую старуху?

– Да; она нынче вечером опять придет.

– Помилуйте, – говорю, – да вы, верно, не знаете, что эта алчная старуха какую не стоящую уважения особю вас представляет!

А кукона вдруг уронила за окно платок, и когда я нагнулся его поднять, она тоже слегка перевесилась так, что вырез-то этот проклятый в ее лифе весь передо мною, как детский бумажный кораблик, вывернулся, а сама шепчет:

– Я ей скажу... она будет добрее. – И с этим окном тук на крюк.

«Я ее вечером опять пришлю». «Я велю быть доб-

рее». Ведь тут уже не все глупость, а есть и смелая деловитость... И это в такой молоденькой и в такой хорошенькой женщине!

Любопытно, и кого это не заинтересует? Ребенок, а несомненно, что она все знает и все сама ведет и сама эту чертовку ко мне присылала и опять ее пришлет.

Я взял терпение, думаю: делать нечего, буду опять дожидаться, чем это кончится.

Дождлся сумерек и опять притаился, и жду в потемках. Входит опять тот же самый шалоновый сверток под вуалем.

– Что, – спрашиваю, – скажешь?

Она мне шепотом отвечает:

– Кукона в тебя влюблена и с своей груди розу тебе прислала.

Очень, – говорю, – ее благодарю и ценю, – взял розу и поцеловал.

– Ей от тебя не надо трехсот червонцев, а только полтора ста.

Хорошо сожаление... Сбавка большая, а все-таки полтора ста червонцев пожалуйста. Шутка сказать! Да у нас решительно ни у кого тогда таких денег не было, потому что мы, выходя из Польши, совсем не так были обнадежены и накупили себе что нужно и чего не нужно, – всякого платья себе нашили, чтобы здесь лучше себя показать, а о том, какие здесь порядки,

даже и не думали.

– Поблагодари, – говорю, – твою кукону, а ехать с нею на свидание не хочу.

– Отчего?

– Ну вот еще: отчего? не хочу да и баста.

– Разве ты бедный? Ведь у вас все богатые. Или кукона не красавица?

– И я, – говорю, – не бедный, у нас нет бедных, – и твоя кукона большая красавица, а мы к такому обращению с нами не привыкли!

– А вы как же привыкли?

– Я говорю: «Это не твое дело».

– Нет, – говорит, – ты мне скажи: как вы привыкли, может быть и это можно.

А я тогда встал, приосанился и говорю:

– Мы вот как привыкли, что на то у селезня в крыльях зеркальце, чтобы уточка сама за ним бежала глядеться.

Она вдруг расхохоталась.

– Тут, – говорю, – ничего нет смешного.

– Нет, нет, нет, – говорит, – это смешное! И убежала так скоро, словно улетела.

Я опять расстроился, пошел в кофейню и опять напился.

Молдавское вино у них дешево. Кислит немножко, но пить очень можно.

Глава шестая

На другое утро, государи мои, еще лежу я в постели, как приходит ко мне жид, который сам собственно и ввел меня во всю эту дурацкую историю, и вдруг пришел просить себе за что-то еще червонец.

– Я говорю: «За что же это ты, мой любезный, стоишь еще червонца?»

– Вы, – говорит, – мне сами обещали.

Я припоминаю, что, действительно, я ему обещал другой червонец, но не иначе, как после того, как я буду уже иметь свидание с куконой.

Так ему и говорю. А он мне отвечает:

– А вы же с нею уже два раза виделись.

– Да, мол, – у окошка. Но это недостаточно.

– Нет, – отвечает: – она два раза у вас была.

– У меня какой-то черт старый был, а не кукона.

– Нет, – говорит, – у вас была кукона.

– Не ври, жид, – за это вашего брата бьют!

– Нет, я, – говорит, – не вру: это она сама у вас была, а не старуха. Она вам и свою розу подарила, а старухи... у нее совсем нет никакой старухи.

Я свое достоинство сохранил, но это меня просто ошпарило. Так мне стало досадно и так горько, что я вцепился в жиды и исколотил его ужасно, а сам пошел

и нарезался молдавским вином до беспамятства. Но и в этом-то положении никак не забуду, что кукона у меня была и я ее не узнал и как ворона ее из рук выпустил. Недаром мне этот шалоновый сверток как-то был подозрителен... Словом, и больно, и досадно, но стыдно так, что хоть сквозь землю провалиться... Был в руках клад, да не умел брать, – теперь сиди дураком.

Но, к утешению моему, в то же самое время, в подобных же родах произошла история и с другими моими боевыми товарищами, и все мы с досады только пили, да арбузы ели с кофейницами, а настоящих куков уже порешили наказать презрением.

Васильковое наше время невинных успехов кончилось. Скучно было без женщин порядочного образованного круга в сообществе одних кофейниц, но старые отцы капитаны нас куражили.

– Неужели, – говорили, – если в одном саду яблоки не зародились, так и Спасова дня не будет? Кураж, братцы! Сбой поправкой красен.

Куражились мы тем, что нас скоро выведут из города и расквартируют по хуторам. Там помещичьи барышни и вообще все общество, должно быть, не такое, как городское, и подобной скаредности, как здесь, быть не может. Так мы думали и не воображали того, что там нас ожидало еще худшее и гораздо больше досадное. Впрочем, и предвидеть невозможно бы-

ло, чем нас одолжат в их деревенской простоте. Пришел вождеденный день, мы затрубили, забубнили, «Черную галку» запели и вышли на вольный воздух. — Авось, мол, тут опять заголубеют для нас васильки.

Глава седьмая

Распределение, где кому стоять, нам вышло самое разнобывуачное, потому что в Молдавии на заграничный манер, – таких больших деревень, как у нас, нет, а все хутора или мызы. Офицеры бились все ближе к мызе Холуян, потому что там жил сам бояр или бан, тоже по прозванию Холуян. Он был женатый, и жена, говорили, будто красавица, а о нем говорили, что он большой торгаш, – у него можно иметь все, только за деньги – и стол, и вино. Прежде нас там поблизости другие наши войска стояли, и мы встретили на дороге квартирмейстера, который у Холуяна квитанцию выправлял. Обратились к нему с расспросами: что и как? Но он был из полковых стихотворцев и все любил рифмами отвечать.

– Ничего, – говорит, – мыза хорошая, как придете, увидите:

Между гор, между ям
Сидит птица Холуян.

Предурацкая эта манера стихами о деле говорить. У таких людей ничего путного никогда не добьешься.

– А куконы, – спрашиваем, – есть?

– Как же, – отвечает: – есть и куконы, есть и препоны.

– Хороши? то есть красивые?

– Да, – говорит, – красивые и не очень спесивые.

Спрашиваем: находили ли там их офицеры благо-
расположение?

– Как же, там, – отвечает, – на тонце, на древце наши животы скончались.

– Черт его знает, что за язык такой! – все загадки загадывает.

Однако, все мы поняли, что этот шельма из хитрых и ничего нам открыть не хотел.

А только вот, хотите верьте, хотите вы не верьте в предчувствие... Нынче ведь неверие в моде, а я предчувствиям верю, потому что в бурной жизни моей имел много тому доказательств, но на душе у меня, когда мы к этой мызе шли, стало так уныло, так скверно, что просто как будто я на свою казнь шел.

Ну, а пути и времени, разумеется, все убывает, и вот; пока я иду на своем месте в раздумчивости, сапогами по грязи шлепаю, кто-то из передних увидел и крикнул:

– Холуян!

Прокатило это по рядам, а я отчего-то вдруг вздрогнул, но перекрестился и стал всматриваться, где этот чертовский Холуян.

Однако, и крест не отогнал от меня тоски. В сердце такое томление, как описывается, что было на походе с молодым Ионафаном, когда он увидел сладкий мед на поле. Лучше бы его не было, – не пришлось бы тогда бедному юноше сказать: «Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю».

А мыза Холуян, действительно, стояла совсем перед нами и взаправду была она между гор и между ям, то есть между этаких каких-то ледащих холмушков и плюгавеньких озерцов.

Первое впечатление она на меня произвела самое отвратительное.

Были уже и какие-то настоящие пустые ямы, как могилы. Черт их знает, когда и какими чертями и для кого они выкопаны, но преглубокие. Глину ли из них когда-нибудь доставали, или, как некоторые говорили, будто бы тут есть целебная грязь и будто ею еще римляне пачкались. Но вообще местность прегрустная и престранная.

Виднеются кой-где и перелесочки, но точно маленькие кладбища. Грунт, что называется, мочажинный и, надо полагать, пропитан нездоровою сыростью. Настоящее гнездо злой молдаванской лихорадки, от которой людидохнут в молдавском поту.

Когда мы подходили вечером, небо зарилось, этокое ражее, красное, а над зеленью сине, как будто си-

няя тюль раскинута – такой туман. Цветков и васильков нет, а торчат только какие-то точно пухом осыпанные будылья, на которых сидят тяжелые желтые кувшины вроде лилий, но преядовитые: как чуть его понюхаешь, – сейчас нос распухнет. И что еще удивило нас, как тут много цапель, точно со всего света собраны, которая летит, которая в воде на одной ножке стоит. Терпеть не могу, где множится эта фараонская птица: она имеет что-то такое, что о всех египетских казнях напоминает. Мыза Холуян довольно большая, но, черт ее знает, как ее следовало назвать, – дрянная она или хорошая. Очень много разных хозяйственных построек, но все как-то будто нарочно раскидано «между гор и между ям». Ничего почти одного от другого не разглядишь: это в ямке и то в ямке, а посреди бугорок. Точно как будто имели в виду делать здесь что-нибудь тайное под большим секретом. Всего вероятнее, пожалуй, наши русские деньги подделывали. Дом помещичий, низенький и очень некрасивый... Облупленный, труба высокая и снаружи небольшой, но просторный, – говорили, – будто есть комнат шестнадцать. Снаружи совсем похоже на те наши стационарные дома, что покойный Клейнмихель по московскому шоссе настроил. И буфеты, и конторы, и проезжающие, и смотритель с семьей, и все это черт знает куда влезало, и еще просторно. Строено прямо без

всякого фасона, как фабрика, крыльцо посередине, в передней буфет, прямо в зале бильярд, а жилые комнаты где-то так особенно спрятаны, как будто их и нет. Словом, все как на станции или в дорожном трактире. И в довершение этого сходства напоминаю вам, что в передней был учрежден буфет. Это, пожалуй, и хорошо было «для удобства господ офицеров», но видто все-таки странный, а устройство этого буфета сделано тоже с подлостью, – чтобы ничем нашего брата бесплатно не попотчевать, а вот как: все, что у нас есть, мы все предоставляем к вашим услугам, только не угодно ли получить «за чистые денешки». Кредит, положим, был открыт свободный, но все, что получали, водку ли, или их местное вино, все этакий особый хлап, в синем жупане с красным гарусом, – до самой мелочи писал в книгу живота. Даже и за еду деньги брали; мы сначала к этому долго никак не могли себя приучить, чтобы в помещичьем доме и деньги платить. И надо вам знать, как они это ловко подвели, чтобы деньги брать. Также прекуръезно. У нас в России или в Польше у хлебосольного помещика стыда бы одного не взяли завести такую коммерцию. С первого же дня является этот жупан, обходит офицеров и спрашивает: не угодно ли будет всем с помещиком кушать?

Наши ребята, разумеется, простые, добрые и очень

благодарят:

– Очень хорошо, – говорят, – мы очень рады.

– А где, – продолжает жупан, – прикажете накрывать на стол: в зале или на веранде? У нас, – говорит, – есть и зала большая, и веранда большая.

– Нам, – говорим, – голубчик, это все равно, где хотите.

Нет-таки, добивается, говорит: «бояр велел вас спросить и накрывать стол непременно по вашему желанию».

«Вот, – думаем, – какая предупредительность! – Накрывай, брат, где лучше».

– Лучше, – отвечает, – на веранде.

– Пожалуй, там должно быть воздух свежее.

– Да, и там пол глиняный.

– В этом какое же удобство?

– А если красное вино прольется, или что-нибудь другое, то удобнее вытереть и пятна не останется.

– Правда, правда!

Замышляется, видим, что-то вроде разливного моря.

Вино у них, положим, дешевое, правда, с привкусом, но ничего: есть сорта очень изрядные.

Настает время обеда. Являемся, садимся за стол – все честь честью, – и хозяева с нами: сам Холуян, мужчина, этакий худой, черный, с лицом выжженной

глины, весь, можно сказать, жилистый да глиняный и говорит с передущинкой, как будто больной.

– Вот, – говорит, – господа, у меня вина такого-то года урожая хорошего; не хотите ли попробовать?

– Очень рады.

Он сейчас же кричит слуге:

– Поддай господину поручику такого-то вина. Тот подает и непременно непочатую бутылку, а пред последним блюдом вдруг является жупан с пустым блюдом и всех обходит.

– Это что, мол, такое?!..

– Деньги за обед и за вино.

Мы переконфузились, – особенно те, с которыми и денег не случилось. Те под столом друг у друга потихоньку перехватывали.

Вот ведь какая черномазая рвань!

Но дело, которым до злого горя нас донял Холуян, разумеется, было не в этом, а в куконице, из-за которой на тонце, на древце все наши животы измотались, а я, можно сказать, навсегда потерял то, что мне было всего дороже и милее, – можно сказать даже, священнее.

Глава восьмая

Семья у наших хозяев была такая: сам бан Холуян, которого я уж вам слегка изобразил: худой, жилистый, а ножки глиняные, еще не старый, а все палочкой подпирается и ни на минуту ее из рук не выпускает. Сядет, а палочка у него на коленях. Говорили, будто он когда-то был на дуэли ранен, а я думаю, что где-нибудь почту хотел остановить, да почтальон его подстрелил. После это объяснилось еще совсем иначе, и понятно стало, да поздно. А по началу казалось, что он человек светский и образованный, – ногти длинные, белые и всегда батистовый платок в руках. Для дамы, он, впрочем, кроме образования не мог обещать ни малейшего интереса, потому что вид у него был ужасно холодного человека. А у него куконица просто как сказочная царица: было ей лет не более, как двадцать два, двадцать три, – вся в полном расцвете, бровь тонкая, черная, кость легкая, а на плечиках уже первый молодой жирок ямочками пупится и одета всегда чудо как к лицу, чаще в палевом, или в белом, с расшивными узорами, и ножки в цветных башмаках с золотом.

Разумеется, началось смятение сердец. У нас был офицер, которого мы звали Фоблаз, потому что он

удивительно как скоро умел обворожать женщин, – пройдет, бывало, мимо дома, где какая-нибудь мещаночка хорошенькая сидит, – скажет всего три слова: «милые глазки ангелочки», – смотришь, уже и знакомство завязывается. Я сам был тоже предан красоте до сумасшествия. К концу обеда я вижу – у него уже все рыльце огнивцем, а глаза буравцом.

Я его даже остановил:

– Ты, – говорю, – неприличен.

– Не могу, – отвечает, – и не мешай, я ее раздеваю в моем воображении.

После обеда Холуян предложил метнуть банк.

Я ему говорю, – какая глупость! А сам вдруг о том же замечтал, и вдруг замечаю, что и у других у всех стало рыльце огнивцем, а глаза буравцом.

Вот она, мол, с какого симптома началась проклятая молдавская лихорадка! Все согласились, кроме одного Фоблаза. Он остался при куконе и до самого вечера с ней говорил.

Вечером спрашиваем:

– Что она, как – занимательна?

А он расхохотался.

– По-моему, – отвечает, – у нее, должно быть, матушка или отец с дуринкой были, а она по природе в них пошла. Решимости мало: никуда от дома не отходит. Надо сообразить – каков за нею здесь присмотр

и кого она боится? Женщины часто бывают нерешительны да ненаходчивы. Надо за них думать.

А насчет досмотра в нас возбуждал подозрения не столько сам Холуян, как его брат, который назывался Антоний.

Он совсем был непохож на брата: такой мужиковатый, полного сложения, но на смешных тонких ножках.

Мы его так и прозвали «Антошка на тонкой ножке». – Лицо тоже было совершенно не такое, как у брата. Простой этакой, – ни скоблен, ни тесан, а слеппен да брошен, но нам сдавалось, что, несмотря на его баранью простоту, в нем клочок серой волчьей шерсти есть... Однако, вышло такое удивление, что все наши подозрения были напрасны: за куконою совсем никакого присмотра не оказалось.

Образ жизни домашней у Холуянов был самый удивительный, – точно нарочно на нашу руку приспособлено.

Тонкого Холуяна Леонарда до самого обеда ни за что и нигде нельзя было увидеть. Черт его знает, где он скрывался! Говорили, будто безвыходно сидел в отдаленных, внутренних комнатах, и что-то там делал – литературой будто какой-то занимался. А Антошка на тонких ножках, как вставал, так уходил куда-то в поле с маленькою бесчеревной собачкою, и его также целый день не видно. Все по хозяйству ходит. Лучших,

то есть, условий даже и пожелать нельзя.

Оставалось только расположить к себе кукону разговором и другими приемами. Думалось, что это недолго и что Фоблаз это сделает, но неожиданно замечаем, что наш Фоблаз не в авантаже обретається. Все он имеет вид человека, который держит волка за уши, – ни к себе его ни оборотит, ни выпустит, а между тем уже видно, что руки набрякли и вот-вот сами отвалятся...

Видно, что малый ужасно сконфужен, потому что он к неудачам не привык, и не только нам, а самому себе этого объяснить не может.

– В чем же дело?

– Пароль донер, – говорит, – ничего не понимаю, кроме того, что она очень странная.

– Ну, богатая женщина, избалованная, капризничает, – весьма естественно.

Порядок жизни у нашей куконки был такой, что она не могла не скучать. С утра до обеда ее почти постоянно можно было видеть, как она мотается, и всегда одна-одинешенька или возится с самой глупейшей в мире птицей – с курицей: странное занятие для молодой, изящной, богатой дамы, но что сделать, если такова фантазия? Делать ей, видно, было совершенно нечего: выйдет она вся в белом или в палевом negligé, сядет на широких плитах края веранды под зеле-

ным хмелем, – в черных волосах тюльпан или махровый мак, и гляди на нее хоть целый день. Все ее занятие в том состояло, что, бывало, какую-то любимую свою маленькую курочку с сережками у себя на коленях лущеной кукурузой кормит. Ясное дело, что образования должно быть немного, а досуга некуда деть. Если с курицей возится, то, стало быть, ей очень скучно, а где женщине скучно, там кавалерское дело даму развлекать. Но ничего не выходит, – даже и разговор с нею вести трудно, потому что все только слышишь: «шти, эшти, молдованешти, кернешти» – десятого слова и того понять нельзя. А к мимике страстей она была ужасно беспонятна. Фоблаз совсем руки опустил, только конфузился, когда ему смеялись, что он с курицею не может соперничать. Пошли мы увиваться вокруг куконьки все – кому больше счастье послужит, но ни одному из нас ничего не фортунило. Открываешься ей в любви, а она глядит на тебя своими черными волосками, или заговорит вроде: «шти, эшти, молдованешти», и ничего более.

Омерзело всем себя видеть в таком глупом положении, и даже ссоры пошли, друг к другу зависть и ревность, – придираемся, колкости говорим... Словом, все в беспокойнейшем состоянии, то о ней мечтаем, то друг за другом в секрете смотрим за нею. А она сидит себе с этой курочкой и кончено. Так весь день

глядим, всю ночь зеваем, а время мчится и строит нам еще другую беду. Я вам сказал, что с первого же дня, как обед кончился, Холуян предложил, что он нам банк заложит. С тех пор пошла ежедневно игра: с обеда режемся до полночи, и от того ли, что все мы стали рассеянные, или карты неверные, но многие из нас уже успели себя хорошо охолостить даже до последней копейки. А Холуян чистит, да чистит нас ежедневно, как баранов стрижет.

Разорились, оскудели и умом, и спокойствием, и неведомо до чего бы мы дошли, если бы вдруг не появилось среди нас новое лицо, которое, может быть, еще худшие беспокойства наделало, но, однако, дало толчок к развязке.

Приехал к нам с деньгами чиновник комиссариатский. Из поляков, и пожилой, но шельма ужасная: где взлает, где хвостом повилает, – и ото всех все узнал, как мы не живем, а зеваем. Пошел он тоже с нами к Холуяну обедать, а потом остался в карты играть, – а на кукону, подлец, и не смотрит. Но на другой день с вдруг говорит: «я заболел». Молдавская лихорадка, видите ли, схватила. И что же выдумал: не лекаря позвал, а попа, – молебен о здравии отслужить. Пришел поп – настоящий тараканный лоб: весь черный и запел ни на что похоже, – хуже армянского. У армянов хоть поймешь два слова: «Григориос Арнениос», а у

этого ничего не разобрать, что он лопочет.

Поляк же, шельма, по-ихнему знал немножко и такую с попом конституцию развел, что приятелями сделались и оба друг другом довольны: поп рад, что комиссионер ему хорошо заплатил, а тот сразу же от его молебна выздоровел и такую штуку удрал, что мы и рты разинули.

Вечером, когда уже при свечах мы все в зале банк метали, – входит наш комиссионер и играть не стал, но говорит: «я болен еще», и прямо прошел на веранду, где в сумраке небес, на плитах, сидела кукона – и вдруг оба с нею за густым хмелем скрылись и исчезли в темной тени. Фоблаз не утерпел, выскочил, а они уже преавантажнo вдвоем на плотике через заливчик плывут к островку... На его же глазах переплыли и скрылись...

А Холуян хоть бы, подлец, глазом моргнул. Тасует карты и записи смотрит на тех, которые уже в долг промотались...

Глава девятая

Но надо вам сказать, что это был за островок, куда они отплывали.

Когда я говорил про мызу, я забыл вам сказать, что там при усадьбе было самого лучшего, – это вот и есть маленький островок перед верандой. Перед верандой прямо был цветник, а за цветником сейчас заливчик, а за ним островок, небольшой, так сказать, величины с хороший двор помещичьего дома. Весь он зарос густою жимолостью и разными цветущими кустами, в которых было много соловьев. Соловей у них хороший, – не такой крепкий как курский, но на манер бердичевского. Площадь острова была вся в бугорках или в холмиках, и на одном холмике была устроена беседочка, а под нею в плитах грот, где было очень прохладно. Тут стоял старинный диван, на котором можно было отдохнуть, и большая золоченая арфа, на которой кукона играла и пела. По острову были расчищены дорожки и в одном месте по другую сторону дерновая скамья, откуда был широкий вид на луга. Сообщение через проливчик к островку было устроено посредством маленького прекрасного плотика. Перильца и все это на нем раскрашено в восточном вкусе, а посередине золоченое кресло. Садится кукона

на это кресло, берет пестрое весло с двумя лопастями и переплывает. Другой человек мог стоять только сзади за ее креслом.

Остров этот и грот мы звали: «грот Калипсы», но сами там не бывали, потому что плотик у куконы был на цепочке заперт. Комиссионер нашел ключи к этой цепи...

Мы, по правде сказать, просто хотели его избить, но он смел был, каналья, и всех успокоил.

– Господа! – говорит: – из-за чего нам ссориться. Я вам весь путь покажу. Это мне поп сказал. Я его спросил: какая кукона? А он говорит: «очень хорошая – о бедных заботится». Я взял пятьдесят червонцев и ей подал молча, для ее бедных, а она, также молча, мне руку подала и повезла с собою на остров. Головой вам отвечаю, – берите прямо в руки сверточек червонцев и, ни слова не разговаривая, тем же счастьем можете пользоваться. Вид лунный прекрасен, арфа сладкозвучна, но я ничем этим более наслаждаться не могу, потому что долг службы моей меня призывает, и я завтра еду от вас, а вы остаетесь.

Вот так развязка!

Он уехал, а мы смотрим друг на друга: кто может жертвовать в пользу бедных здешнего прихода по пятидесяти червонцев? Некоторые храбрились, – «я вот-вот из дома жду», – и другой тоже из дома ждет,

а дома-то, верно, и в своих приходах случились бедные. Что-то никому не присылают.

И вдруг среди этого – неожиданнейшее приключение: Фоблаз оторвал цепь, которую был прикован плотик, переплыл туда один и в гроте застрелился.

Черт знает, что за происшествие! И товарища жаль, и глупо это как-то... совсем глупо, а однако, печальный факт совершился и одного из храбрых не стало.

Застрелился Фоблаз, конечно, от любви, а любовь разгорелась от раздражения самолюбия, так как он у всех женщин на своей родине был счастлив. Похоронили его честь честью, – с музыкой, а за упокой его души все, у одного собравшись, выпили и заговорили, что это так невозможно оставить, – что мы тут с нашей всегдашней простотою совсем пропадаем. А батальонный майор, который у нас был женатый и человек обстоятельный, говорит:

– Да вы и не беспокойтесь, я уже донес по начальству, что не ручаюсь, будет ли в чем вас из этой мызы вывезть, и жду завтра же нового распоряжения. Пусть тут черт стоит у этого Холуяна! Проклятая мыза и проклятый хозяин!

И все мы то же самое чувствовали и радовались возможности уйти отсюда, но всем господам офицерам досадно было уйти отсюда так, – не наказавши подлецов.

Придумывали разные штуки устроить над Холуянами; думали его высечь или как-нибудь смешно обрить, но майор сказал:

– Боже спаси, господа: прошу вас, чтобы ничего похожего на малейшее насилие не было, и кто ему должен – извольте, где хотите занять денег и с ним расчитаться. А если что-нибудь невинненькое, для отыграния своей чести придумаете, – это можете.

Лиха беда, отыграния чести-то не было на что этого произвести.

Майор сказал, наконец, что он от нас только скрывает, а что собственно у него уже есть в кармане предписание выступить и что завтра здесь последний день нашей красоты, а послезавтра на заре и выступим в другие места.

Тут мне и взбрыкнула на ум какая-то кобылка:

– Если, – говорю, – мы послезавтра выходим, так что завтра здесь наш последний вечер, то, сделайте милость, Холуян будет хорошо проучен, и никому не похвалится, что ему довелось русских офицеров надуть.

Некоторые похвалили, говорили, – «молодец», а другие не верили и смеялись: «ну, где тебе! лучше не трогай».

А я говорю:

– Это, господа, мое дело: я все беру за свой пай.

– Но что же такое ты сделаешь?

– Это мой секрет.

– Но Холуян будет наказан?

– Ужасно!

– И честь наша будет отомщена?

– Непременно.

– Поклянись.

Я поклялся тенью несчастного друга нашего Фоблаза, которая сама себя осудила одиноко блуждать в этом проклятом месте, и разбил свой стакан об пол.

Все товарищи меня подхватили, одобрили, расцеловали и запили нашу клятву, но только майор удержал, чтобы стаканов не бить.

– Это, – говорит, – один театральный фарс и больше ничего...

Разошлись прекрасно. Я был в себе крепко уверен, потому что план мой был очень хорош. Холуян в своих проделках должен быть совершенно одурачен.

Глава десятая

Настало завтра и последний день нашей красоты. Получили мы свое жалованье, отдали все сполна, кто сколько был должен Холуяну, и осталось у каждого столько денег, что и кошель не надо. У меня было с чем-нибудь сто рублей, то есть на ихние, по-тогдашнему, это составляло с небольшим десять червонцев. А для меня, по плану затеи моей, еще требовалось, по крайней мере, сорок червонцев. Где же их взять? У товарищей и не было, да я и не хотел, потому что у меня другой план имелся. Я его и привел в исполнение.

Приходим на последнюю вечерю к Холуяну – он очень радушен и приглашает меня играть.

Я говорю:

– Рад бы играть, да игрушек нет.

Он просит не стесняться, – взять займы у него из банка.

– Хорошо, – говорю, – позвольте мне пятьдесят червонцев.

– Сделайте милость, – говорит, – и подвигает кучку.

Я взял и опустил их в карман.

Верил нам, шельма, будто мы все Шереметьевы.

Я говорю:

– Позвольте, я не буду пока ставить, а минуточку погуляю на воздухе, – и вышел на веранду.

За мною выбегают два товарища и говорят:

– Что ты это делаешь: чем отдать?

Я отвечаю:

– Не ваше дело, – не беспокойтесь.

– Ведь это нельзя, пристают, – мы завтра выходим, – непременно надо отдать.

– И отдам.

– А если проиграешь?

. – Во всяком случае отдам.

И соврал им, будто у меня есть на руках казенные.

Они отстали, а я прямо подлетаю к куконе, ногой шаркнул и подаю ей горсть червонцев.

– Прошу, – говорю, – вас принять от меня для бедных вашего прихода.

Не знаю, как она это поняла, но сейчас же встала, дала мне свою ручку; мы обошли клумбу, да на плотике и поплыли.

Глава одиннадцатая

Об игре ее на арфе отменного сказать нечего: вошли в грот: она села и какой-то экосез заиграла. Тогда не было еще таких воспалительных романсов, как «мой тигренок», или «затигри меня до смерти», – а экосезки-с, все простые экосезки, под которые можно только одни па танцевать, а тогда, бывало, ни весть что под это готов сделать. Так и в настоящий раз, – сначала экосез, а потом «гули, да люли пошли ходули, – эшти, да молдаванешти», – кок да и дело в мешок... И благополучным образом назад оба переплыли.

Глава двенадцатая

Откровенно признаться – я не утаю, что был в очень мечтательном настроении, которое совсем не отвечало задуманному мною плану. Но, знаете, к тридцати годам уже подходило, а в это время всегда начинаются первые оглядки. Вспомнилось все – как это начиналась «жизнь сердца» – все эти скромные васильки в ржи на далекой родине, потом эти хохлушечки и польки в их скромных будиночках, и вдруг – черт возьми, – грот Калипсы... и сама эта богиня... Как хотите, есть о чем привести воспоминания... И вдруг сделалось мне так грустно, что я оставил кукону в уединении приковылывать цепочкою ее плотик, а сам единолично вхожу в залу, которую оставил, как банк метали, а теперь вместо того застаю ссору, да еще какую! Холуян сидит, а наши офицеры все встали и некоторые даже нарочно фуражки надели, и все шумят, спорят о справедливости его игры. Он их опять всех обыграл.

Офицеры говорят:

– Мы вам заплатим, но, по справедливости говоря, мы вам ничего не должны.

Я как раз на эти слова вхожу и говорю:

– И я тоже не должен – пятьдесят червонцев, которые я у вас занял, – я вашей жене отдал.

Офицеры ужасно смутились, а он как полотно побледнел с досады, что я его перехитрил. Схватил в руку карты, затрясся и закричал:

– Вы врете! вы плут!

И прямо, подлец, бросил в меня картами. Но я не потерялся и говорю:

– Ну, нет, брат, – я выше плута на два фута, – да бац ему пощечину... А он потрянул свою палку, а из нее выскочила толедская шпага, и он с нею, каналья, на безоружного лезет!

Товарищи кинулись и не допустили. Одни его держали за руки, другие – меня. А он кричит:

– Вы подлец! никто из вас никогда моей жены не видал!

– Ну, мол, батюшка, – уж это ты оставь нам доказывать, – очень мы ее видали!

– Где? Какую?

Ему говорят:

– Оставьте, об этом-то уже нечего спорить. Разумеется, мы знаем вашу супругу.

А он, в ответ на это, как черт расхохотался, плюнул и ушел за двери, и ключом заперся.

Глава тринадцатая

И что же вы думаете? – ведь он был прав!

Вы себе даже и вообразить не можете, что тут такое над нами было проделано. Какая хитрость над хитростью и подлость над подлостью! Представьте, оказалось, ведь, что мы его жены, действительно, никогда ни одного разу в глаза не видали! Он нас считал как бы недостойными, что ли, этой чести, чтобы познакомить нас с его настоящим семейством, и оно на все время нашей стоянки укрывалось в тех дальних комнатах, где мы не были. А эта кукона, по которой мы все с ума сходили и за счастье считали ручки да ножки ее целовать, а один даже умер за нее, – была черт знает что такое... просто арфистка из кофейни, которую за один червонец можно нанять танцевать в костюме Евы... Она была взята из профита к нашему приходу из кофейни, и он с нее доход имел... И сам этот Холуян-то, с которым мы играли, совсем был не Холуяном, а тоже наемный шулер, а настоящий Холуян только был Антошка на тонких ножках, который все с бесчеревной собакой на охоту ходил... Он и был всему этому делу антрепренер! Вот это плуты, так уж плуты! теперь посудите же, каково было нам, офицерам, чувствовать, в каком мы были дурачком положе-

нии, и по чьей милости? — По милости такой, можно сказать, наипрезреннейшей дряни!

А узнал об этом прежде всех я, но только тоже уж слишком поздно, — когда вся моя военная карьера через эту гадость была испорчена, благодаря глупости моих товарищей. Господа же офицеры наши еще и обиделись моим поступком, нашли, что я будто поступил нечестно, — выдал, извольте видеть, тайну дамы ее мужу... Вот ведь какая глупость! Однако, потребовали, чтобы я из полка вышел. Нечего было делать — я вышел. Но при проезде через город жид мне все и открыл.

Я говорю:

— Да как же, их поп-то зачем же он про свою кукону говорил, что ей будто можно под предлогом на бедных давать?

— А это, — говорит, — справедливо, только поп это про настоящую кукону говорил, которая в комнатах сидела, а не про ту свинью, которую вы за бобра приняли.

Словом сказать—кругом одурачены. Я человек очень сильной комплекции, но был этим так потрясен, что у меня даже молдавская лихорадка сделалась. Насилу на родину дотащился к своим простым сердцам, и рад был, что городническое местишко себе в жидовском городке достал... Не хочу отрицать, — ссорился с ними не мало и, признаться сказать, из сво-

их рук учил, но... слава богу – жизнь прожита и кусок хлеба даже с маслом есть, а вот, когда вспомнишь про эту молдавскую лихорадку, так опять в озноб бросит.

И от такого неприятного ощущения рассказчик опять распаковал свою вместительную подушку, налил стакан аметистовой влаги с надписью «Ея же и монаси приемлят», и молвил:

– Выпьемте, господа, за жидов и на погибель злым плутам – румынам.

– Что же, это будет преоригинально.

– Да, – отозвался другой собеседник, – но не будет ли еще лучше, если мы в эту ночь, когда родился «Друг грешников», пожелаем «всем добра и никому зла».

– Прекрасно, прекрасно!

И воин согласился, сказал: «абгемахт», и выпил чарку.

Впервые опубликовано – журнал «Россия», 1883.